

*Маленький бумажный самолётик,
Сложенный из листка в клетку, на котором
Я написал заветное своё желанье,
Попал в грозовой фронт над палестинскими
территориями*

*И сгорел, так и не увидев
Посадочных огней Бен-Гуриона
(Этот свет, маленькую искру,
Видели в полночном небе лётчики израильских ВВС,
лучшие асы в мире,
И засвидетельствовали о том под присягой)...*

1. <Поль>

Секрет добрососедских отношений обитателей последнего дома на улице Аронсон состоял в том, что все они искренне считали друг друга сумасшедшими. Поэтому общались с добродушным смирением, изредка срываясь в шумные свары, но без зла — что с психов возьмишь.

И вдруг сегодня Поль проснулась оттого, что безобидная, обычно тишайшая Тиква ревела, как медведь: «Шлюююхаааа!»

Кричала, конечно, по-арабски: «Шармута!»

Из дальнейшего скандала стало ясно, что соседский сеттер Рочестер спросонок попытался напасть на какую-то из бесчисленных кошек, которых прикармливала Тиква. С одной стороны, Поль радовалась, что та подбирает несчастных животных, служащих прочим равнодушным гражданам живым укором, но с другой, Тиква была противницей стерилизации. Как-то пере-

хватила Польшу на улице и со слезами на глазах рассказала, что пропал её любимец Вася, три дня не было, а потом вернулся нецелый: «Представьте, его поймали и скастрировали!»

— Какое горе, — холодно ответила Польша.

По самым примерным подсчётам во дворе ошивалось уже два десятка кошек и число их неуклонно росло.

И сегодня Рочестер, провожавший в детский сад заспанного Джулиена, не сдержался. Напрасно его хозяйка, очень вежливая американка, бесконечно извинялась — Тиква кричала так, будто кошку порвали на клочки, а потом долго сидела на лавочке во дворе, являя собой воплощённую скорбь: смотрела в одну точку и ни с кем не здоровалась.

У Тиквы был очаровательный русский язык, её привезли в Израиль в три года и с тех пор прошло четыре с лишним десятка лет, но она сохранила довольно чистую, своеобразно окрашенную речь, которая была бы милой, если бы не лёгкое, но очевидное безумие. Польша, про себя называвшая соседку «старушкой», поразилась, когда посчитала её годы — Тиква-то ненамного старше неё, а как выглядит. Правда, иногда она находила работу или мужчину и тогда наряжалась, подкрашивала губы, выпускала из тугого пучка кудряшки и отчётливо преображалась,

но не столько благодаря невинным ухищрениям, сколько от внутреннего сияния. Некоторая умственная отсталость сообщала Тикве непосредственность, она не стеснялась светиться от счастья, когда подбирала очередного возлюбленного — в последний раз это был бродяга, одеревеневший от пьянства. В начале отношений они устраивали свидания во дворе, парочка подолгу сидела на скамейке, и Тиква щебетала, не смущаясь отсутствию эмоциональной реакции у своего кавалера. Потом сладились, зажили семьёй и начали ходить за покупками в дешёвый супермаркет «всё по пять шекелей». После зимних дождей бомж исчез, а Тиква погасла и перестала распускать волосы — до следующей любви. Её имя означало «Надежда», и Поль не могла вообразить более правдивого воплощения этого подлого чувства, чем простодушная, доверчивая, безумная седая девочка.

Несмотря на то, что Поль жила на Аронсон больше года, она толком не знала своих соседей. Была семья американцев, чьи голоса раздавались под её окнами с плотными жалюзи, которые она всегда держала полуприкрытыми. Поль запомнила только имена обоих детей и собаки, потому что слышала, как их окликали, но зато ей было известно многое другое. Старший, Джулиен вечно кашлял, и Поль иногда беспокоилась

из-за его бронхита. Он говорил с родителями на иврите, но отец отвечал ему на английском — билингва росли, стало быть. Папа шутил, всё время напевал и болтал с детьми сквозь улыбку; голос матери был не очень приятный, какой-то старообразный, но Поль ей многое простила, когда услышала, как она, укладывая младенца в коляску, извинилась перед ним: «Сожалею, Сэмюэль, ты голоден, но...» Больше всего на свете Поль ценила хорошее воспитание, ведь вежливость — это единственное, что люди по-настоящему должны друг другу, — никто не обязан быть тёплым и дружелюбным, но быть вежливыми извольте, это вопрос минимальной гигиены общения.

В этом смысле её совершенно устраивали Тиква и американцы, последние только в теории — она не перебросилась с ними и словечком. Более того, первые полгода она их даже не видела и только представляла, ориентируясь по голосам. Папа наверняка блондинистый высокий клерк в белой рубашке, а мама невзрачная широкозадая брюнетка в очках. В иврите было обидное, но честное словечко «шмануха», от слов «шмена» — жирная, и «намуха» — низенькая, вот такая. Но как-то Поль шла мимо фалафельной возле рынка Кармель, услышала знакомую улыбочивую речь, оглянулась и поняла, что угадала

только с очками. Женщина оказалась хоть и маленькой, но стройной, а мужчина невысокий, тёмный, типичный бритый тель-авивец в майке, никакого лоска.

Безымянной осталась и соседка-певица, которая читала рэп и обожала выводить джазовые рулады, страшно фальшивя. При этом умудрялась преподавать вокал, раскрывала голос начинающим исполнителям: что-что, а драть глотку от души она умела. Зато Поль знала имена пожилого наркомана в завязке (Дани), которого навещала сотрудница соцслужбы, и дементной старушки — Ривка. К той приходила чуть более здравая подружка и выкликала во двор, чтобы пособачиться. Сути конфликта Поль не понимала, как, впрочем, и обе его участницы. Ривка иногда что-то кричала Поль из окна, та улыбалась в ответ и шла к себе. В её квартирку вело отдельное крыльцо и контакт с соседями получался минимальный, был свой маленький дворик, где она расставила цветы и развесила зеркала, подобранные на помойке. Иногда находила горшки перевёрнутыми и грешила на Дани, у которого бывали приступы агрессии.

Поль осознавала, что и с ней самой не всё ладно, уж слишком её переклинило на одиночестве. Несколько месяцев посещала курсы иврита

та, но группа подобралась франко- и англоязычная, она ни с кем не сблизилась. В городе было несколько знакомых, большей частью бывших москвичей, переехавших совсем недавно, с некоторыми она раньше общалась только в Сети, по работе, а здесь впервые повидалась. В профессии Польша занимала нишу для «культурных девушек»: анонимно вела аккаунты нескольких маленьких брендов в Инстаграме и Фейсбуке, писала колонки про отношения на женские сайты и сочиняла подростковые романы. Для двух последних работ она имела псевдоним — Полина Грейф, который настолько прижился, что при переезде записала его в израильские документы, сократив имя до Польша. Тётка в аэропорту фыркнула:

— Ладно бы еврейское взяли!

Польша могла бы возразить, что фамилия папеньки — Грейфан, к тому же, английское grief соответствовало её характеру, она всегда была грустной девочкой. Но лишний раз спорить не хотелось: тётка же запретить не могла, документы на новое имя всё равно надо получать в МВД, ну и нечего ей объяснять. Но та не успокаивалась:

— Ну зачем «Польша», вы же не Полина по паспорту? Вы, может, не в курсе, на иврите «польша» — бобы, а ещё это слово «пэй-вав-ламед»,

читается и «фуль», варёные бобы. Хотите быть варёным бобом? Ну, как знаете.

Поль только улыбалась — она знала. Когда-то давно у неё были особо нежные отношения с одним из бобовых, да...

Дама всё не успокаивалась, и даже город вероятного проживания Поль — Тель-Авив — вызвал её неодобрение.

— Там же дорого, вы не потянете!

— Не беспокойтесь обо мне, я справлюсь.

И тётка махнула рукой. Эти новенькие всегда совершают одни и те же ошибки, никого не слушают, но свой ум не вложишь, невозможно прожить за человека его жизнь. Тем более, перед ней, скорее всего, очередная охотница за страховой медициной и синим израильским паспортом, из тех, что отсиживают в стране положенные полгода и возвращаются обратно, чтобы кататься по европам без визы, а потом вспоминают о гражданстве только когда по здоровью припрёт. Отменить бы тот закон о возвращении, по которому в страну тащат кого попало, основываясь на четвертушке еврейской крови... Но раздражение быстро погасло — да ладно, пусть живёт, может, будет ей мазаль*, мужа найдёт, а то ведь одиночка. А тут и деток нарожает,

* *Мазаль* — счастье, везение, судьба.

хоть и возраст критический, но врачи у нас хорошие. На вид-то ей чуть за тридцать, своих не дашь — они там, в России, все помешаны на уколах всяких, ботоксах, молодятся. Чего боятся, чего так от времени прячутся, не понять...

Но раздумывать о судьбе упрямой бабёнки было некогда, на её месте уже сидел новый испуганный репатриант, ошалевший от перемен, происходящих в судьбе.

А Поль может и не знала, как оно лучше, но зато чётко представляла, чего хочет. Она хотела и это имя, и этот город, и ровно такую жизнь, как выбрала. В прежние времена стала бы оправдываться, объяснять что-то, налаживать отношения с соседями, вживаться в «настоящий Израиль», а не в собственный полупридуманый сновидческий Тель-Авив, который однажды окинула близоруким взглядом, досочинила то, чего не разглядела, и полюбила навсегда. Но той удобной девочки давно и следа не осталось, а нынешняя женщина хоть и не очень приятная, зато решительная и жизнью своей управляет сама, как умеет.

Поль нравилось вспоминать, как начиналась эта любовь, единственная, которая ей удалась — у неё были отношения несимметричные, когда один из пары только позволял себя лю-

бить. Случались и вполне взаимные, но вместе остаться не удалось, и даже в обоюдном дружеском равнодушии получилось пожить. Но вот так, чтобы душа в душу и вместе, — такое впервые. В любви этого города она не сомневалась, здесь ей слишком везло. Например, с жильём — приезжая туристкой, умудрялась не слишком дорого селиться в самых лучших районах, а когда переехала окончательно, удача не изменила, и ей досталась крошечная квартирка в прелестном квартале Керем а-Тейманим. Пристройку, где она располагалась, предназначалась под снос, но никто не знал точных сроков, и хозяйка предложила договор без гарантий, пока на полгода, а потом как пойдёт, зато гораздо дешевле обычного в этом районе. Раньше здесь жила почтенная матушка большого йеменского семейства, но, как деликатно выразилась её дочь Гала: «Этим летом она перестала нас радовать». «Остаётся надеяться, что они её не усыпили», — подумала Польш.

Но поначалу она не сомневалась, что эта любовь станет несчастливой, как и все прочие. Потому что никакой эмиграции ей не светило, породой не вышла, мама была безнадёжно русской, разве что с четвертинкой цыганской крови, отца она не знала. Он дезертировал с семейного фронта, когда ей было три, и мама раз и навсег-